



ИОНОВА МАРИАННА БОРИСОВНА – прозаик, критик. Родилась и живет в Москве. Окончила филологический факультет Университета Российской академии образования и факультет истории искусства РГГУ. Как критик печаталась в литературных журналах, автор книг прозы «Мэрилин» (М., 2013), «Мы отрываемся от земли» (М., 2017). Лауреат независимой литературной премии «Дебют» в номинации «эссеистика» (2011).

ЖИЗНЬ РУДОКОПА

Повесть

Но вот в обеих, в земле, а также и в плоти твоей, сокрыт свет ясного божества, и он пробивается насквозь и рождает им тело по роду каждого тела: человеку по его телу и земле по ее телу; ибо какова мать, таким бывает и дитя. Дитя человека есть душа, которая рождается из плоти из звездного рождения; а дети земли суть трава, зелень, деревья, серебро, золото, всякие руды.

Якоб Бёме.

«Аврора, или Утренняя заря в восхождении»¹

К тем играм в Альпах наш азарт не стих. Мы и сейчас, мой друг, играем в них. Когда бледнеет в прошлом дивный свет. Наш путь лежит наверх за ним вослед.

К. Ф. Майер²

¹ Перевод А. Петровского.

² Перевод М. Ребристого.

Начало этой истории лежит в солнечном ноябре позапрошлого года.

Оно опирается на небывало чистую для позднего времени твердь, и небесную, и земную. На ясное небо и неяркий, однако, свет, равно и на черные, печатные, как в апреле, стволы деревьев, золотисто-голубоватую взвесь за ними, гладь асфальта, металлически-матовое сияние которого напоминало о водной глади, на распыленную даль — на все, отсылающее к весне.

Тем, что это подобие на поверхности переместилось со мной, когда я спустилась под землю, где отличия времен года только усугубляются в одежде людей, объясняется факт, ставший завязкой истории, а именно свежее пристальное внимание, оживляющее и того, кого оно избирает, и того, от кого исходит.

Я не стыжусь признать, что мой взгляд в поезде метро был весеннего происхождения. Взгляд снизу вверх от меня сидящей на стоящего надо мной мужчину. Он держался левой рукой за горизонтальный поручень, а в правой был раскрытый журнал, достаточно низко опущенный, чтобы мне видеть лицо.

Впрочем, можно ли приписать то, что я стала всматриваться в этого человека, лишь неурочной весне?

Он выделялся. Ростом — очень высоким. Длиннополом черным пальто из толстого сукна, какие не носят с 90-х. Родимым пятном, не столько темным, сколько крупным, вверху левой щеки, под глазом. Наконец, уже для меня лично, его выделяло и, возможно (оправдываю я себя), прежде всего мой взгляд притянуло серебряное кольцо с молитвой на безымянном пальце держащей журнал руки — в точности как у меня.

А помимо: волосы, прямые, тускло-золотистые, обрамляющие лицо, скорее широкое, и прикрывающие уши, чуть закручиваясь концами наружу. Прическа эта, слишком женственная для роста, тяжелого пальто, кондового кожаного портфеля, прислоненного к ноге; для напряженности переносицы и рта, уверенно отнесенной мною насчет личностного субстрата отличной от преходящей естественной сосредоточенности тем, что чтение не вызывает ее, а выявляет, — эта прическа отвечала и всему мутно-гнетуще-тревожно-архаично-основательному, как «рыцарская», сиречь «романтическая». (Не забыть и журнал, узурпировавший место айфона и наверняка разделивший его обязанности на пару с мобильником — ровесником слова «мобильник».) Да, по убедительному, пусть и малодостоверному свидетельству давно листанных книжек с картинками, прапрадед Шумана, пес на Чудском озере или благообразный любовник Ундины, повторился в праправнуке предпочтением именно такой длины. Кристально-бледная голубизна вокруг точечных зрачков, из-за чего глаза первоначально казались большими и даже навывкате, хотя

Жизнь рудокопа

были немногим больше среднестатистических, золотистый ответ на прямых, чуть сально лоснящихся волосах и скуластость, и этот редкий изъян, почти равнодостоинный шраму, и говорящее кольцо, для слишком многих соблазн и безумие, составляли что-то, внутри чего оспаривали друг друга вызывающе-капризное и упрямо-угрюмое, дерзкое и беззащитное, неустойчивое в себе и монолитное, мужское и женское.

Я пыталась вообразить школьные годы мальчика, затем юноши с родимым пятном. Дразнили ли его, скажем, *Горбу!* Тогда уж посконнее и циничнее — Пегим, например. Отваживала ли от него девушек эта метка или, наоборот, как любая метка, притягивала? Неужели он не сознает, что даже чуть отстающая от норматива стрижка привлекает празднично-беглое внимание к лицу, стало быть, и к пятну?.. Значит, собственный облик как целое ему недоступен, у него нет участливого зеркала других глаз. Ведь настолько не видит себя лишь тот, кого не видит никто бескорыстный, но не беспристрастный. Выполняет ли кольцо с молитвой на безымянном пальце обязанность обручального? Непроизвольность этих вопросов, так легко слагающихся, тоже удивляла меня, хотя и не смущала, более того — радовала, как будто извещала меня от меня же привычной.

Глядя на него, я читала журнал без обложки, которую отвернутые страницы прячут в себе. Неметафорический, бумажный журнал между тем я не могла читать вовсе: мне доставался слепой обрез, а то, что может быть понято, удаляющее всякую таинственность, слова,

кроме гравированных на кольце, находилось по ту сторону, по его сторону.

При подходе поезда к очередной станции он отпустил поручень, сложил журнал (мелькнувшую обложку я рассмотреть не успела), наклонился к портфелю и затем, с портфелем в руке, стал продвигаться на выход. Он встал у самых дверей и, когда те раздвинулись, шагнул первым. И в ту же секунду я поднялась и, почти прилепившись к спинам последних покидающих вагон, вышла на платформу.

Минутой ранее моя поездка еще оканчивалась через две станции, и мой день еще сулил то, что сулил и утром, но мужчина в поезде обнулil его, сбросил, как цифры прежнего счета перед новым таймом. Нет, это я обнулила мною же предрешенное, перерешила его, но только зачем? Пустившись вслед за человеком, который приведет меня в никуда, в приграничную зону между жизнями его и моей, где невозможно находиться, потому что не на чем стоять и нечем дышать, я пустилась в небывалую для себя авантюру, столь же бессмысленную, сколь и безопасную, то есть по бессмысленности и безопасную. Я понимала, что последую за ним до первой же отрезвляющей и отчуждающей меты чужого пространства и поверну назад, и на ходу уничижала и стыдила себя, но вот за что? За безрассудство преследования или за безрассудство саморазоблачения перед собой же? Или за недостаточное безрассудство, за отчаянность, тем более жалкую, что оно мне ничем не грозит, что оно — чужое, взято напрокат у собирательной

Жизнь рудокопа

романной героини и умещается в один абзац, вырванный из текста?

Стоя позади него на эскалаторе, я видела небольшую, кое-как зачесанную лысину. Черный массив пальто, особенно под светлым затылком с его ущербной золотистостью, казался вдвойне тяжелым.

И что было моей наживкой — моей для меня же? То есть какую цель я преследовала, преследуя? Но как ответить, не ответив прежде на вопрос о природе единственности, найденной мною в одном из сонма ежечасных пассажиров метро. Среди них встречались диковины, не то что представляющие — воплощающие бронебойный романтический нонконформизм почти маскаратно... Впрочем, в том-то и крылась их слабость — в не задорого приобретенной полноте выражения, в целесообразности, целенаправленности всех черточек и знаков изъятия себя из презренной злобы дня, в уютной гармонии фронды. Ведь романтическое (согласно Гегелю, по крайней мере мною перевернутому) нецелесообразно, части в нем не подчинены целому, тогда как целое покрывает, примиряя с собою, части. Незрячий до самого себя, мой пассажир не проектировал, не осмысливал своей непримиримости с модой, трендом, каноном — как ни определили, не стремился к ней, а потому не являл какого-либо из щедрой линейки типажей, будь то пользователь эксклюзивно-серийного сплина или владелец дизайнерской модели пассаизма. Все, чем он отрицал моду, тренд ли, канон, было единично и случайно, и сама

доведенность деталей в общее случайна. Однако скажи я, что он *был самим собой*, как тут же его замкнул бы жадный циркуль скороспелого и самозваного совершенства, на службе у страха остаться Витрувием без золотого сечения, зодчим без проекта, проектом без чертежа, пятном, постоянно теряющим и заново находящим свою кромку. Как теряло на миг его пятно, словно подразмываемое с краю в зависимости от угла преломления света.

Ни одна составляющая его облика еще не говорила сама за себя. Все то, что я отнесла в нем к романтизму, но не округлила до романтизма, существовало не для его рефлексии, а лишь для моего стороннего взгляда. И именно потому не для любого стороннего взгляда как навязанное, указанное, а только для моего. Для моего, «под свою руку» изготовленного романтизма, с которым никто не мог быть сличен, и выдержать, потому что лекала не было. Вряд ли бы кто-либо другой увидел в случайном смешении — черноте и долготе расстегнутого, под собственным весом расходящегося полами пальто (ладно бы еще кожаного, так матерчатого, с поясом), почти в извращенно-смешном соседстве прически, которая могла бы подчеркнуть благородную нежность юноши, но не придать ее лысеющему мужчине за сорок, и родимого пятна — увидел бы дух. Дух, нелепостью своей формы и неясностью своей сути пугающий, и опять же только меня. А где дух, там и тайна. Тайна, которая мне поручила ее раскрыть, но сначала доделать, доглядеть ее и за нею.

Жизнь рудокопа

Улицу, где мы вышли, я не опознала, но передо мной тут же восстал скорее образ, чем план, и скорее гений, чем образ, района, в который лет восемь—десять назад меня часто приводила не надобность, а фланерство. Эта нежданная встреча с тенью давнишней беззаботности была тем более кстати, что мое предприятие начинало меня пугать. Не исходом, мною купированным, обезвреженным, но который, однако, все оттягивался — хотя от меня бдительно не отставала строка вроде электронной, гласящая, что конец преследованию должен наступить чем раньше, тем лучше, и каждую условную между, только уловив издали, я намечала себе как знак повернуть обратно. Нет, меня пугал не марш на чужое, не то, что могло бы меня подстеречь, как партизанская засада, а, напротив, причина этого захватнического похода. Я сама. Меня пугала та я, которую показал мне не подготовленный даже смутным и скомканным решением рывок в сторону за мало что незнакомым — неизвестным мужчиной. Пугало звеняще-отрешенное хладнокровие, с которым я прикидывала, не безумна ли. И страх вдруг осыпался, обнаруживая под собой сухую скорбь о себе как об обреченном родственнике.

Коротким рабочим днем был ознаменован канун ноябрьских праздников, и я не сомневалась, что тот, за кем я иду, направляется, как и я, домой. Но впустило его светло-серое четырехэтажное здание в стиле функционализма, оттесненное от обочины небольшим мощеным пустырем-стоянкой, с несколькими разномастными

табличками справа и слева от белых пластиковых дверей – деловой центр средней руки.

Все полтора километра от павильона метро я соблюдала не навлекающий подозрений отрыв и дала ему увеличиться, у дверей нарочно помедлив. Когда я вошла, до меня уже доносились шаги на лестнице слева за проходной. Я стояла перед турникетом, приручая неумолимую данность своего бесправия, но опомнилась прежде, чем ко мне обратился охранник. Очутившись снаружи, снова перед дверьми, я, по счастью, додумалась изучить таблички. Нотариальная контора, столовая (не иначе, как для своих), остальное – офисы фирм. Я списала названия, ни одно из которых не откликалось в памяти. Впервые я сожалела о том, что прежде от моего спартанского телефона ничего, кроме благ его телефонной природы, не требовала, а то до поисков в Интернете не пришлось бы терпеть. Дома, едва разувшись, я включила компьютер. Из-под плохо прилаженных, великоватых, с чужого плеча, англизированных имен выступали фирмы, производящие оборудование для стоматологических кабинетов, торгующие комплектами постельного белья, предлагающие туры в ОАЭ, кафельную плитку из Италии и грузоперевозки по России... В одни я деспотично его не «пускала», другие милостиво оставляла как вариант. Что-то, что взнуздывало досаду на необходимость довольствоваться гаданием, а затем и его изжить не солоно хлебавши, заточило и мою смекалку, и теперь ее лезвие играючи секло мантры удушливого пораженчества.

Жизнь рудокопа

Среди офисов был пункт выдачи заказов интернет-магазина. Вместо того, чтобы застолбить за собой первый же календарь со щенятами или набор фломастеров, я отсеивала товар за товаром. Вещь на роль предложения должна была, точно «звезда» в эпизоде, отдать свое лучшее целому, но как часть обогатить его, но смиренно, подстроившись и сообразовавшись. Я прочила эту вещь в сувениры, в память о незадачливой вылазке за пределы себя. Мою привередливость утолил неказистый и несуразный предмет – футляр для ключей, шматок искусственной кожи, словно забракованный при выкройке того портфеля.

Не прошло и десяти минут после того, как я, кликнув на «самовывоз», выбрала из адресов искомый, и мне позвонила девушка-оператор. Бог весть почему, но я опасалась мужского голоса в трубке, как опасалась узреть через стойку выдачи того, благодаря кому существовало светло-серое здание со всеми вобранными ужавшимися возможными мирами. Такая, не по возрасту и по стати, работа не его унижала, а меня обкрадывала – как если бы *deus ex machina* спустился на середине спектакля и к тому же повелел освободить помещение в связи с угрозой пожара.

Столковавшись о том, что пропуск мне будет заказан на первый рабочий день после праздников, я написала письмо своему начальству, испрашивая этот день в счет отпуска.

Мне предстоял карантин двоящихся, как в дурноте, выходных. Коротать их помогал вопрос, попадавший на

глаза то и дело и между делом, как мои руки. Чего я хочу от того, к которому добиваюсь? Не знакомства. На это я не посягала из чувства меры, а может, чести. Но, пусть не сближение, однако что-то мне нужно, без чего я не успокоюсь. Увидеть его еще раз? Закрепить ничего не держащий узелок, само же событие, к которому отсылает?

Я ежедневно навевалась в район, где ждало меня – но не раньше срока – светло-серое здание, и я избегала его так же честно и трепетно, как мыслей о единственном, кто вошел при мне в его двери.

Это был старый московский северо-восток, застроенный некогда в меру довоенной индустриальной деловитости, и плотно, и скупно, чтобы после войны не утеснившись вместить жилые кварталы, под рост медленно усыпляемым фабрикам, поновляемым больницам – четыре-пять этажей. Он словно не притязал быть чем-то более города вообще, до сих пор лишь кое-где меченный неразборчивым и ленивым находом девелопера, и официозно-хипстерское живописное бодрячество еще не покорило его пуританскую безвидность. Он донашивал грифельно-серую штукатурку, алый и палевый кирпич, хворостяные, постные в угоду ноябрю кроны роц, прикрывающих жилые дома, как растительные ризы – прародителей. Он во всем был скромен и щедр, скромн на краски и объемы и щедр на простор, не терпящий пустоты. Я отражалась в нем лицом женщины без возраста и без макияжа, разве что больше тронутым усталостью, чем мое, но и несравнимо больше – кротостью. Кротостью от долгого молчания, а не от рождения.

Жизнь рудокопа

Это лицо обещало, не дожидаясь, пока я доведу узор своего желания. Не льстиво-беспечно, а справедливо и потому веско обещанием не убаюкивающим, но утишающим, не утешая. Что все исполнится и придет, хоть и много позже, и придет в исполненности отказа, потери и конца, предвестник которой — тишина, налетающая бурей.

По пути к светло-серому зданию я одергивала свою задиристую веселость, изобличавшую меня перед совестью, как нервный оскал, как несправедливая защита-нападение. Я едва ли не надеялась на крах, который мог быть засчитан как смягчающее вину обстоятельство и который был почти единственной вероятностью: откуда было мне знать график работы того, кого я собиралась подкараулить? Да и ничто не давало уверенности в том, что сюда на моих глазах его привела накатанная рутина, а не случай, как заказчика, покупателя, просителя.

Помня, что в прошлый раз оказалась у делового центра между четвертью и половиной пятого, я для перестраховки положила себе быть на месте не позднее четырех. Сорокаминутное стояние на посту — поблизости не было ни скамьи, ни пригодного бордюра — понемногу оглушило, и грубую эту корку конечной вечности не могли прокусить вьющиеся вокруг стыд и тревога. Тем чувствительнее впились жала, стоило показаться черному пальто и — выше смотреть я боялась — кожаному портфелю, в раскачке которого отзывалась ширина шага.

Я поспешила войти, предъявила вахтеру паспорт в обмен на пропуск и, толкнув перекладину, ринулась к лестнице, перед которой и замерла. Пропустив его на пару ступенек вперед, я осведомилась, правильно ли иду в пункт выдачи заказов.

— Правильно, — он обернулся сверху через плечо, — вам на третий этаж, налево по коридору, и там увидите. — Голос у него был не высокий и не низкий, мелодичный, чуть гулкий. Снова он предварял меня на подъеме, и я смотрела в его затылок с казавшимися еще светлей поверх проплешины волосами, на широкий пояс пальто, на расслабленную ладонь, перехватывавшую перила с той же ложной бездумностью, с какой я за ней наблюдала.

Он поднимался выше, на четвертый.

Я свернула в левый коридор даже слишком проворно. Пока девушка за стойкой выдачи, по голосу — мой же оператор, снимала с полки сверток, разрешила ножницами скотч и пупырчатый целлофан, изнутри меня тщила пробить целлофан благоразумия и порвать скотч хорошего тона трель, птичий позывной, выстрел децибелами по одиночеству в счастье или беде — вопрос, признание, самое беззаботно-пустое замечание о соседях сверху. Что угодно, приобщившее бы эту девушку к моей эскападе, разрядившее бы в нее накопленный за эти праздничные дни и праздничные минуты восхождения ток.

Но мой как на углях пляшущий голос прозвучал лишь словами благодарности и прощания.

Жизнь рудокопа

Я мешкала покидать вестибюль, темноватый, но настолько партикулярный в своей свободе от каких-либо признаков, что не мог называться ни мрачным, ни даже унылым. Щелкал турникет, впуская и выпуская, а я, как несколько дней назад, не в силах была развязаться и поставить хотя бы многоточие.

Уже оперев ладонь в перекладину, я повернулась к вахтерскому окошечку: тот мужчина в черном пальто, который прошел до меня... И хотя я решила скорее на облегчительное кровопускание, чем на выпытывание чего-либо у вахтера, которого миновали после мужчины в черном пальто десятка два мужчин, тот почти дружески подхватил: из**

Он приготовился выслушать мой бесстрастный и гладкий, как стальная перекладина турникета, вопрос. Я пробормотала, что обозналась, и выскочила вон, спеша свериться с одной из табличек. Интернет подтвердил дома то, что припомнилось по дороге. Эта фирма производила карманные фонарики, а может, лишь торговала ими, но ничем больше. У нее не было ни сайта, ни страницы в соцсетях. «Яндекс-карты» давали, правда, два контактных номера: городской и мобильный. Я набрала второй. Мне ответил чуть искаженный поношенностью обоих, моего и другого, аппаратов голос, который я впервые услышала на ступеньках в светло-сером здании.

«Продаете ли вы в розницу или только оптом?» — «Разумеется, продаем и в розницу, но со склада, подъезжайте на склад и выбирайте, у вас есть на чем запи-

сать адрес, или лучше послать вам его в смс?» – «Диктуйте, я запишу».

Купить – вряд ли у него, маловероятно, чтоб он был и за кладовщика, – фонарик, сломать, позвонить и пожаловаться на низкое качество? Но моя отчаянность, видно, достигла пика и теперь повернула вспять. Я не поехала на склад и провела следующие два дня так, как проводила их до нынешних ноябрьских праздников. Доверилась ли я Богу или только выдохлась, одно ясно: пару часов спустя после предварительного сговора о покупке я снова себя узнавала в той, которая разбросанно болтала с родителями, заваривала чай, читала текущую книгу и смотрела передачу канала для путешественников. Она будто бы этим утром выписалась из больницы, где ей была сделана недолгая и несложная, но неотложная операция.

От продавца фонариков, как я его, конечно же, про себя не определяла, но до сих пор не дерзнула определять хоть как-то, я не отрекаюсь и вообще не отрекаюсь ни от чего, а лишь отказалась, и то не отказалась, а просто, когда иссякла инерция пущенного безумием колеса, согласилась, что так лучше.

На третий день вечером я на себе испытала описанное явление: телефон только подал первый сигнал из сумки в прихожей, но я, хотя не ждала звонка, знала, кто звонит.

«Вы не приехали на склад. Не могли бы вы сказать, почему передумали?»

Я села на пол. Собственно, я удержалась в последний момент, чтобы, послушно телу, не лечь на пол навыв-

Жизнь рудокопа

тяжку, но достоинство выручил рассудок, напомнивший о родителях, которые могут меня увидеть.

«Потому что мне не нужен фонарик».

Пауза. «Кажется, я знаю, *что* вам нужно».

От догадки о его догадке меня накрыл смех, но зато лицо матери, заглянувшей из комнаты, вынудило подняться. Нет, на самом деле я не поднялась, а рухнула — вместе со смехом, валившим, как оползень, на обломки того, что грохотом своего падения лавину и вызвало.

«Мне не нужны наркотики!»

«У меня их и нет. Но, судя по вашей реакции, вы не от моей матушки. Как помилованная, я робко опешила. Не от нее. Я с ней даже незнакома. Тогда... Тогда не понимаю».

В тоне его не было колкого нетерпения. Растерянный, но не рассерженный, а, похоже, и заинтригованный, он не заслужил уверток, и уж если я тратила его время, то покрыть траты должна была чем-то редким и ценным, к тому же всяко полезным для нас обоих.

К маме присоединился отец, поэтому я прошла с телефоном в ванную и закрылась.

«Вы когда-нибудь шли за понравившейся незнакомой женщиной, просто чтобы узнать, куда она идет? Где работает. Как звучит ее голос».

Долг этих дней я платила честностью и за честность удостоилась венца — голову объяла пульсирующая ледяная боль.

«Нет... но я вполне способен такое себе представить. (Его тонкость превышала отметку сочувственного минимума.) В том смысле, что это нормально...»

«Пожалуйста, простите за то, что отняла ваше время попусту и напрасно обнадежила. Я поспрашиваю коллег, возможно, кто-то ищет карманный фонарик. Да и сама куплю у вас...»

«Вам удобно подъехать?..»

Я еще занималась своей триадой, возясь в ней, как в искусственной, особо вязкой грязи, а его слова уже были тут, и я отпрянула на них, словно ненароком ступив из лужи на сухую почву. И, как уличенный в проделке ребенок выпаливает, что это не он, выпалила, что завтра весь день работаю.

«Я тоже. Вам удобно *в субботу* днем подъехать на “Дмитровскую”?»

Венец врезался в черепную кость словно бы напоследок.

«На “Дмитровскую”?..» Я не уточняла, а как бы проверяла, понимаю ли смысл слова, вспышкой боли засвеченный.

«Там несколько выходов, так что давайте встретимся прямо внизу, в центре зала. Когда вам удобнее: в час, в полвторого? В два?»

В час.

Тогда до субботы.

До субботы, повторила я, и он отключился.

Чем объяснить, что с нас все-таки не довольно получать только сторге, родственную любовь, и необходимо, чтобы хоть раз чужой, свободный человек вдруг по собственной воле пошел за нами? Не *инстинктом*

Жизнь рудокопа

же *продолжения рода* из советского учебника биологии для старших классов (почему тогда не гнездования?..). Скорее нам хочется, чтобы нас любили незаслуженно, но чтобы мы при этом ничего не должны были за эту незаслуженность, как должны родным, даже зная, что они ничего в ответ не ждут, — мы сами ждем от себя отдачи им. Чувство человека со стороны просто падает на вас вдруг, но падает именно на вас, этому чувству почему-то нужны только вы, а почему, ни вы, ни тот человек понимать не обязаны; выпадает благодарно-блажными осадками, уверяя в непредсказуемости благодати и в законности блажи. То есть в нашей оправданности.

По пути к «Дмитровской» я повторяла, уже дремотно, поскольку давно отточила и затвердила инструкцию: какое предложение отвергну сразу, над каким подумаю, но знала и что, для чего бы ему ни понадобилась, безоговорочно соглашусь, и решимость уже не пугала меня как первая ласточка психоза, как маска на самоуничтожении. То, к чему я неслась, сидя в вагоне с сумкой на коленях и сложенными поверх сумки руками, не могло навредить мне. Это знание (не убежденность, не вера) уже было во мне, когда я проснулась, — покоем, который я вынесла из крепкого сна, и скорее покоем-знанием, чем мыслью-знанием, и тем более прочным, чем менее правомочным.

Но что я знала о человеке, для которого наша третья по счету встреча — свидание вслепую? Что он в ссоре с матерью, что его бизнес дышит на ладан, а потому,

вероятно, он работает в двух местах, деля день между ними.

Я смотрела на то, на что эти несколько дней запрещала себе смотреть. Не зажмуриваясь, я видела разложенные на косой пробор, свисающие вдоль щек волосы, родимое пятно, кольцо с молитвой, журнал в правой руке, водянисто-голубые глаза, и я спрашивала:

– Ты любишь меня?

Он стоял чуть сбоку от черного литого барельефа в торце, вполоборота к платформе, противоположной той, на которую я сошла, и держал обеими руками, у живота, букет бледно-розовых георгинов. Когда я приблизилась не с той стороны, откуда меня ждали, он повернулся, не резко, а как бы отставляя на время некое размышление. Углы губ его пошли вверх, брови же были чуть сдвинуты, что могло выдавать принуждение себя к улыбке, но тут значило обратное: нахмурился он заведомо, а улыбнулся – на меня, как на нечто гораздо менее безнадежное, чем сулил разговор по телефону.

Я поблагодарила за букет, правдиво добавив, что люблю георгины, и придержав, что раньше мне вообще не дарили цветы.

– Это георгины? – Он глянул на свое подношение со спокойным любопытством.

Что открывала мне его деланая ровность? Ему хотелось увидеть женщину, так далеко зашедшую в своем интересе, и вот он видит. Ему остро хочется узнать, когда и где я увидела его, при каких обстоятельствах, как выяснила место работы, однако он молчит, боясь быть

Жизнь рудокопа

бестактным, но и не в силах сронить что-то вопиюще необязательное, безразличное, предсказуемое. Он не решается запустить программу, которая конвертирует меня в то, что легче всего принять и открыть, — в заполнение промежутка между последней и очередной длительной связью. Не решается потому, что наш незванный, даровой случай обязывает к бережному обращению — слишком уж хрупок тщеславной и утлой хрупкостью: то ли хитрое изделие, то ли ломкий хрящ.

Он представился Кириллом, я назвалась, и мы как будто поставили подписи под свидетельством о том, что встреча — ошибка. Мы признали, что в тупике, куда нас завела ненасытность: перейдя рубеж телефонного разговора, мы переступили через триумф, после которого следовало почивать на лаврах. Мы попрали нашу награду — и отменили победу.

Та, в вагоне, готовая служить чем и чему угодно, проехала «Дмитровскую» — ее дождался запасник, архив, хранилище не востребованного возможного. Я не досмотрела фильма, на место героини которого со сладостной прилежностью подставляла себя в каждом кадре, но тоскиво-страстное самозаклание экранной бедовой меланхолички свертывалось, стоило только подставить ее на место меня. На своем единственном месте в той же, но трехмерной истории я могла быть только ничтожным средством к ничтожной цели.

На эскалаторе он пропустил меня вперед и еще отступил вниз на пару ступенек — механическая галантность или соображение выгоды для обзора, но то, что

теперь, легализовавшись, уже я стою выше и впереди, и пристыжало меня, и тяготило стыдом за него.

Как только мы вышли на улицу, Кирилл спросил, хотела бы я погулять или посидеть в кафе. Я выбрала кафе, чтобы больше не нести букет, упруго валившийся то влево, то вправо. Прогулка между тем досталась в придачу: ведь если Кирилл жил где-то здесь, то ел либо дома, либо вблизи работы, стало быть, и здешний общепит существовал для него немногим более достоверно, чем для меня. Среди вывесок, мимо которых мы шли, попадались и вывески заведений быстрого питания, но таких, где ритм задан бургером – утрамбовывать в этот ритм беседу было бы смешно. Подходящим показалось кафе азиатской кухни на другой стороне улицы. Я не навыкла посещать такие места, да и Кирилл, вероятно, судя по равнодушному замедлению, с которым повел меня вдоль столов. Мы сели за последний в ряду у окна. Кирилл снял пальто, и я вспомнила, что тогда, в вагоне, одет он был так же: черные кожаные брюки и оливковая рубашка, из матово-переливчатой, имитирующей шелк ткани.

Я заказала только кофе, и Кирилл вдогонку – кажется, просто чтобы усладить официанта. Тот, почти благоговейно вызволивший от меня цветы, через некоторое время поставил их на стол в стеклянном кувшине для лимонада.

Изумление Кирилла нашим одинаковым кольцам, как всякое безотчетное и бескорыстное изумление, вышло радостным, и я первой, за него, внутренне осеклась,

Жизнь рудокопа

но тут же и он, глянув на меня коротко, чуть откинулся и стал смотреть в окно.

Я сказала, что свет совсем апрельский. Нет, Кирилл покачал головой, слишком много меди – апрель скорее серебряный. Приложив его «медь» к тому, что видела, я сразу уверилась, насколько он точен. Медная искра бежала по каждой волосяной грани, и песочная розовость оседала на плоти и на бесплотном, пригашая изжелтагазовые рефлексy, разрыхляя остроту свечения. Равно голуби и «сталинский» вал фасадов, укреплявший тот берег Бутырской улицы, обменивали сизый пепел масти на эту розовую соль, и в воздушной середине между асфальтом и небом, в самом воздухе этого, для глаз и дыхания, пространства цвет оживал; цвет возвращался свету и его пальцами мимолетом разносился повсюду – сдержанно-семейная обоюдная ласка твари.

За то, что я это вижу, способна видеть, даже теперь, когда я не одна, за то, что оно не исчезло рядом с Кириллом, за это я была благодарна Кириллу.

Да, скорее сеเปีย. Может, сравнение с металлами ему ближе, предположил Кирилл, потому что его специальность – металлогения, он окончил Горный институт. Мне, перехватила я, пришла на ум метафора из области фотографии потому, наверное, что – «фотос», свет, а не потому, что я фотограф или художник. Я всегда невольно отмечаю, какой свет, – не знаю, откуда это, но сколько себя помню. И меня уже давно интересует философия света. Гегель называл свет первым «я», источником субъективности, то есть различения, личности в чув-

ственном мире, который был бы иначе лишь грузно, непроницаемо, невыносимо-вязко объективен. Но верно и то, что свет не смотрит на лица и примиряет различия...

Но ведь я не философ? Профессиональный, он имеет в виду. С дипломом.

Надежда и безразличность в его тоне застали меня врасплох, как волна из-под колес проскочившего на пешеходный «зеленый» автомобиля.

Нет. Диплом у меня документоведа. А профессия, как в трудовой книжке значится, — делопроизводитель. Но о философском факультете я действительно всерьез подумывала и в старших классах, и даже на первом курсе Историко-архивного, чуть было не собралась переводиться, но, видимо, мне, слава Богу, дано трезво смотреть на вещи — трезво не для философии, а для того, чтобы оценить свои способности, может быть, не спорю, и, как вы дали понять, сомнительные просто по факту пола...

Что значит «дал понять»?

Ну, мне показалось, может, я ошибаюсь, что вы к женщинам профессиональным, дипломированным философам относитесь иронически.

«Я?!» Как первое его изумление походило больше на радость, так это было дистиллированным изумлением, не шутливым, не оскорбленным, но в своей образцовости доверчивым. Сто процентов показалось. Его родил профессиональный философ, буквально родил, — какая уж тут может быть ирония. Мать — доктор философских наук, профессор, член-корр. РАН. Он помолчал.

Жизнь рудокопа

Так что я должна извинить его, он совсем не хотел меня задеть.

Я спохватилась о Горном.

Да, он изучал горное дело, конкретнее — обогащение полезных ископаемых, в дипломе у него так и значится. Только пусть я сразу забуду куваевские романы и весь этот задушевный мачизм. (Мне было нечего забывать.) В горную промышленность он не стремился, со старших классов метил на геофак МГУ, при котором посещал студию, а до нее кружок при минералогическом музее имени Ферсмана. Он мечтал посвятить себя минералогии, а именно, геммологии — науке о самоцветах, правда, и кристаллохимию рассматривал как более общее направление. Но Бог ссудил так, что он попал в Горный, хотя иначе как теорией заниматься тогда еще не мыслил, твердо знал, что будет ученым-геохимиком. А что диплом писал по обогащению драгметаллов, предпослав, таким образом, себе прикладную специальность, — то так сложились обстоятельства. Подавляющее большинство — ну или, по крайней мере, когда он поступал, таковых еще было большинство — идет в геологи ради образа жизни, ради экспедиций, это радикально иной человеческий тип, с представителями которого ему никогда не удавалось найти общий язык. Они всерьез мнят себя *последними романтиками*. Между тем нет ничего более антиромантического, чем экспедиция. Он был в экспедиции однажды, и одного раза ему хватило. Миф экспедиций стоит на двух заблуждениях: что если ты проводишь в них жизнь, то, значит, тобою дви-

жет любовь к природе — раз и бегство от социума — два. На самом деле в экспедиции легко дышат те, у кого социальный инстинкт переразвит, пчелиного уровня, которым пресловутая природа вне общения с себе подобными задаром не нужна. В экспедициях ты постоянно среди людей. Невозможно остаться наедине с собой. Не *одному* — это-то пожалуйста, правда, максимум на час, — но не наедине с собой...

Он же мечтал не о мужском бродяжном братстве, а о камнях и металлах, которые полюбил еще в отрочестве, — драгоценные камни и металлы прежде всего. Все началось со школьной экскурсии в Кремль, их, четвероклассников, повели смотреть Оружейную палату, и, пока девчонки дивились на платья всяких Екатерин, а парни — на мушкеты и пищали, он не мог оторваться от окладов, потиров, панагий, царских регалий. Он впервые видел драгоценные камни и тогда же понял, что ничего прекраснее не увидит никогда, что ничего более прекрасного просто не предоставлено человеческому зрению. По счастью, сгоряча он поделился восторгом с матерью одноклассника, которая их сопровождала, и та рассказала ему о музее имени Ферсмана, куда он на другой день помчался и бывал там уже при всякой возможности, а вскоре записался в кружок...

Меня уже распирало имя аббата Суггерия, так ладно и навечно объединившего собою наши пристрастия — философию света и драгоценные камни, и что-то вроде многоточия в монологе дало мне отмашку. Рефлекторное недовольство моим перехватом и новизна имени

Жизнь рудокопа

сначала насторожили Кирилла, но он пожелал узнать, о чем я, и в итоге богослов и строитель, чье восхищение блеском камней как физической зримостью того Божественного света, о котором учил Псевдо-Дионисий, создало цветной витраж, — малый средневековый гигант представил ему свои плечи для опоры.

Вот это и есть любовь к природе. Любовь, основанная на знании и *понимающем* наслаждении. Только такая любовь неэгоистична, потому что ей достаточно своего предмета издалека. Любить ходить в горы не значит любить горы. Чтобы любить горы, необязательно подниматься на них и совсем уж противно любви их покорять.

Но он-то горы любит?

Смеет утверждать, что да.

«Это злое усердие в удвоении, усилении, *сметь утверждать*, эта надменная задиристость — не ресентимент ли, — думалось мне, — обожателя гор, подвизающегося по коммерческой части? Идеал одинокого восхождения, банальность про любовь издалека — романтизм, тем и вполне ходовой, и людный, открытый, как «Странник над морем тумана», *Auf die Berge will ich steigen*¹, вырос передо мной, вспугнув прежний, раннеябрьский, только мой». Но и этим, принадлежащим Кириллу, кондовым, как его кожаный портфель, я понимающе наслаждалась.

«...Совершенно лишне доказывать кому-то или самому себе любовь к горам, связывая с ними профес-

¹ Гейне. Путешествие в Грац.

сиональную деятельность и тем более досуг (от альпинизма его тошнит; а от высоты?..)» — подумалось мне безо всякой, впрочем, издевки). Как эта любовь проявляется у него, вообще едва ли можно продемонстрировать. Так сложилось, что работал он всегда только в пределах Москвы. И так вышло, что практически никогда не по специальности. Одно время профессионально занимался музыкой. С другом и однокурсником Иваном, плюс еще трое из Института стали и сплавов, они играли — не смейтесь — индустриал-метал (а что еще?), вдохновлялись «Rammstein», разве что размах и уровень были по возможностям и способностям: получалась Neue Deutsche Härte, «новая немецкая тяжесть» на русский лад. Из уважения к «первоисточнику», точнее, преклонения, Кирилл дважды брался учить немецкий и со второй попытки освоил бы азы, кабы не Иван, убедивший-таки, что главное — не буква, а дух. Группа называлась Konrad. Никакого особого смысла здесь нет, это анаграмма его инициала и фамилии — К. Андронов. Они выступали в ДК, а как-то раз случился и стадион, на разогреве у одной команды из Германии, название которой вряд ли мне что-то скажет. Группа продержалась, однако, шесть лет, был даже записан альбом, который, правда, расхотелся потом еще лет десять, но, в конце концов, весь тираж был продан, а это немало.

Тевтонская нота, которую я считала своим домыслом, никому и ничему, кроме меня, не обязанным и Кириллу ни к чему не обязывающим, теперь точно динамиками приближенная, ударила по барабанным перепон-

Жизнь рудокопа

кам, хлестнула через край, обесценив мой вклад. Чувство, будто меня разжаловали, уравнивала, лстя, моя пронизательность, хотя и слишком чудесная, чтобы не быть поддавками мне Провидения. Она, эта нота, уже вплелась в мое понимающее наслаждение грамотной, хорошо артикулированной – правильной, спрямленной речью Кирилла.

Кстати, вся фирма – они двое с Иваном; это Иван нашел поставщика, зарегистрировал бренд, снял офис, а Кирилла позвал коммерческим директором, что было не совсем последовательно. Они хотели бы расширить бизнес, торговать не только фонариками, но и разными светодиодными лампами, однако ниша уже плотно занята, а с тех пор, как фонарики встроены во все гаджеты, дела идут откровенно плохо. Так что он уже год как на полставки преподает основы геологии в Строительном колледже. А до их с Иваном бизнеса поработал в нескольких инжиниринговых компаниях.

Говоря, Кирилл иной раз исподволь прокручивал кольцо, довольно свободно сидящее на пальце, – само по себе движение не было нервно-суетливым, но все же очевидно навязчивым. Когда он улыбался, напряжение, тоже, как и речь, выправленное, спрямленное, словно натягивалось, особенно если Кирилл молча слушал, склонив голову набок, и давало на выходе приторность. Когда же он нарочно серьезнел, например подтрунивая над собой времен музыкальных опытов, то лицо его, наоборот, расслаблялось, делалось ясно и мирно-скупным.

Он не каждую секунду мне нравился, а иную — был неприятен, но я любовалась им.

Извинившись за, возможно, слишком личный вопрос, я спросила, почему все-таки не МГУ, а Горный и что заставило его поменять теоретическую науку на прикладную.

Вопрос личный, но есть личные вопросы, на которые стоит отвечать, и он ответит. На геофак МГУ был большой конкурс, по сведениям из проверенного источника, собирались нещадно «валить», а попасть в «отвалы» значило армию. Он решил подстраховаться Геологоразведочным институтом, благо университет всегда проводит экзамены чуть раньше других вузов, но руководитель кружка посоветовал Горный, куда Кирилл и подал документы после непроходного балла в МГУ, и, как уже сказал, Бог судил за него. А направление на третьем курсе Горного поменял потому, что маячило создание семьи, в итоге сорвавшееся, и он, не без некоторых мук, конечно, решил иметь специальность более перспективную с точки зрения трудоустройства и достаточного для прокорма семьи заработка.

По умолчанию я перенесла выданный мне лимит и на второй сугубо личный вопрос, защищаясь перед собой тем, что, упомянув о сорвавшемся браке, Кирилл не может не ожидать засева им самим подготовленной почвы.

Нет, семьи нет и сейчас. Женат он никогда не был, живет один. А я не была замужем, правда, и планов на этот счет не вынашивала, живу с родителями.

Жизнь рудокопа

Чем дольше длилась встреча, тем дальше нас разводила, но, вопреки разрушительной избыточности того, что длилось, пока мы сидели друг против друга, я была счастлива. Это, длящееся, было нашим ребенком, и премиальные цветы, туповато громоздящиеся в кувшине, словно все поздравляли и поздравляли меня, не умея остановиться сами, пока их не уберут с глаз. И пусть «новорожденный», сразу встав на ноги и не нуждаясь в заботе, великодушно отторгнул родителей. Бесплодное само стало плодом, разрешив собой и избавив «мать», да и «отца» от круговорота сожалений о нерешительности и угрызений об опрометчивости. Но тогда уж это родители выпростались из плаценты мелкого маловерия, скаредной самоохраны. Преступив, да, неблагоговейно преступив, приступили к жизни — вызывающе под землей, — к жизни на вольном воздухе.

Когда я сказала, что заплачу за свой кофе, Кирилл не стал натужно протестовать. С заботливостью, клонящейся в деловитость, он поинтересовался о следующем разе: где и когда мне удобно. Нигде и никогда. Я сама удивилась верному тону и единому выдоху. Я очень счастлива. И буду счастлива еще долго. И поэтому следующего раза не будет. Он не нужен.

Кирилл не позволил мне насладиться этой, к нему относящейся, ему воздающей честь, горно-белоснежной необратимостью.

Кому? *Мне* следующий раз не нужен? А если нужен ему?

Его почти возмущение было настолько поперек, что и меня почти возмутило, вырвав: «Как это?»

А вот так. Я счастлива — флаг мне в руки, но то, что произошло, касается нас обоих. Я не могу поэтому просто сбежать. Он констатировал, до такой степени не прося, что даже не упрекая. Я именно сейчас ему необходима. (Утвердительность поясняюще смягчилась.) И я не должна бояться: он не сделает мне ничего плохого. Он произнес это без снисходительного поддразнивания волокиты, которому льстит девичья опаска. Не прося, он просил и всей возможной для себя пуританской серьезностью вкладывался в эту просьбу. Просьбу, которая, недвусмысленно, ясно, как на просвет, не касалась мужского и женского.

Но зачем была я необходима? Вызвать чью-то ревность? Устрашить или, наоборот, умиротворить его мамушку? Обеспечить ему фиктивный брак? Ничто из этого не стоило моего страха.

Я и не боюсь его. Тут дело в другом. Просто по пути сюда все успело закончиться. *Слишком быстро все закончилось...*

Из памяти подло высунулось, что так говорят о половом акте, и меня, наверное, бросило в краску. Но либо Кирилл был чище меня, либо я была для него чище его, а значит, и меня подлинной.

Ну, раз так, раз все закончилось (не только тон, но и голос его пустотело, в горькой легкости от обиды приподнялся), тогда он может открыть мне без обиняков, что вынес из нашей встречи.

Жизнь рудокопа

Эта «встреча», которая у меня внутри всегда опережала «свидание», укоряла меня. Укора мне от меня же, которой вдруг стало больно не знать и не узнать никогда, о чем он собирался просить.

Разобрать, за себя или за него эту боль, а вернее, разлепить ее на боль за себя и боль за него, не получалось тем паче, что я уже видела подоплеку моей вероломной принципиальности — прежде всего, если не *лишь* сознание несексуальной и неромантической сути его нужды во мне.

Где та точка, в которой я уже знала об этой сути, а посему и знала, что бояться мне нечего? Я понимала это уже в вагоне. Постановщица, исполнительница и зрительница малобюджетной урбанистической драмы, не без — благопристойной, вымученно-атмосферной — эротики, с обязательным катарсисом открытого финала. Перебирая, что с ходу отклоню, как особа порядочная и воцерковленная, а что взвешу, и не собираясь отклонять ничего, я обманывала себя с другим обманом. Как особе порядочной и воцерковленной, мне тем дешевле давалось парение над предрассудками, что пикировать на них и рвать в мясо заведомо не придется. Полно: неужели я верила в то, что на станции «Дмитровская» фантазия и *жизнь* сыграют химическую свадьбу, что человек, к которому я приближаюсь, заговорит со мной немного отретушированными репликами сценария? Не по добродетельности или чистоплююству я не могла быть ничтожным средством к ничтожной цели, а потому, что цели как истца и целомудрия как ответчика

нет. И жертва (по пути), и отступничество от нее (по прибытии), и безоглядность, и своевременная разумность летели в молоко, но прямой, моей же наводкой.

Я понимала все еще за два дня, с вечера среды, с телефонного разговора, если не прежде звонка. На платформе понимала, что он в мыслях не имеет заполнять мною паузу, — не потому, что опять-таки сверхъестественно чистоплотен или милосерден, а потому, что любила я, а не он, я искала его, а не он меня, я нуждалась в нем, а не он во мне.

Но это ведь означает еще один радиус самообмана. Безотчетно успокоенная тем, что заранее соглашалась на все, чего он от меня захочет, дурачу себя, сочиняю себя и его, я тем самым по-настоящему заранее соглашалась на все. На его настоящее «все», а не сочиненное мною. На «все» как на круглый ноль. Понимая, что назначенная мне встреча — подачка, ну, не так патетично, отправление чуткости, я зачем-то ведь ехала на «Дмитровскую». Ноль подрос до единицы: от меня все-таки что-то нужно, но что-то буднично-благонамеренное, опрятно-человеческое.

Но теперь, когда самый внешний обруч самообмана лопнул, переигрывать поздно. Поставить себя перед ним в той невинности, которую он боялся смутить, вернуть себе эту невинность — я не представляла, как взяться. С одной стороны, раз решила за нас я, то у меня было право отменить решение, с другой — после того как я объявила, что все закончилось, все закончилось и для него, здесь уже он был в своем праве. Напрямик из-

Жизнь рудокопа

виниться? Или окольно, любезностью показать, что откладываю бегство и готова к услуге?

Так что же он вынес?.. Когда на платформе он меня увидел, мой взгляд и как я взяла букет, то понял, что это не жалость.

Последнее слово, вопросительно повторенное мною, он выговорил почти горделиво, даже подбородок как будто чуть подался вперед, так что шея стала заметнее.

Да. Жалость. Он притронулся к пятну костяшками пальцев, не опуская подбородка и продолжая глядеть на меня в упор. То есть сначала он думал, что я посредник его матери (так уж вышло, что напрямую они с некоторых пор не общаются), а когда выяснилось, что нет, предположил, что я... просто проявляю сострадание, в котором, как мне кажется, он нуждается.

И он не рассердился?

Зачем?

Не почувствовал себя оскорбленным?..

Зачем... Напротив. Решил посмотреть на человека, который отважился сломить инерцию, по которой мы все движемся друг мимо друга, можем даже наступить на самолюбие, прикинуться... изобразить увлечение, чтобы другой человек поверил в себя. Подарить другому человеку... надежду... На слове «надежда» он повел плечами, как бы отдавая его тем, кто охотнее и увереннее им пользуется.

Но когда... (Кирилл опустил глаза и прочистил горло, и на миг мне до ненависти стало страшно, что он сей-

час прослезится.) Когда я появилась, тут он совсем растерялся, потому что увидел, что... что это не жалость, а...

Он понял, что перемахнул и подать назад невозможно. Это был самый момент, чтобы, придя ему на помощь, спасти себя.

Так зачем я необходима ему?

Это уже не важно.

Небрежность скороговорки наказывала меня, но я не далась. Важно.

Хорошо. (Он словно ставил тире вместо звена «Пеняйте на себя».) Ему нужна сестра.

Медицинская?

Чья-то, подложная язвительность другим концом огрела меня саму, но Кирилл или не уловил ее, или наскоро простил, или принял как заслуженную.

Нет. Родная.

Это связано с наследством? Я не буду участвовать в юридических махинациях!

Мое самоотвержение треснуло с мстительным смаком, как вдруг трескается расхваленное изделие на глазах покупателя. Но Кирилл простил мне и это: улыбка, которая вывела на его лицо мое уже второе после «наркотиков» подозрение в криминальном умысле, пусть и исковерканная наконец объединенными силами приторности и напряженности, еще упорствовала быть нашей связкой, нашей перемычкой.

Он же сказал, что мне нечего бояться. Только заранее предупреждает: то, что он сейчас будет говорить, возможно, и даже наверняка никакого отношения не

Жизнь рудокопа

имеет ко мне настоящей, так что я смело могу не принимать на свой счет того, что покажется чересчур. Ну, покажется бестактным... Так вот, мой взгляд, когда я подошла на платформе. В нем была уязвимость. Не то чтобы стрелка развернулась и он понял, что это я нуждаюсь в его жалости, не то чтобы я смотрела на него не сверху вниз, а снизу вверх — фигурально выражаясь, понятно. Но когда ему открылось, что я не жалею его, а... Скажем так, для меня он кто-то, кого жалеть не за что... Тогда-то он вспомнил, что всегда мечтал... Лет в шестнадцать-семнадцать-восемнадцать мечтал о младшей сестре. Ну вот нет у него сестры!.. (Последнюю фразу Кирилл подоткнул в конце, для устойчивости, смешком, похожим на сбивку дыхания, покаянным и недоверчивым.) И именно сейчас сестра ему необходима. Именно такая, как я. Вот я не мечтала в детстве о старшем брате?..

Он недолго ждал, что я уступлю подсказке, и мое оцепенение перевесило.

Ладно... Простите мне Бога ради этот какой-то бред о сестре... Кирилл положил и секунду удерживал на столе ладони, как на только что захлопнутой крышке, после чего легко, будто оттолкнувшись, встал. Но и я вскочила, то ли поспевая за ним, то ли преграждая ему дорогу.

Мне тогда было двадцать, и уже четыре года, как я знала о некой своей физиологической особенности, подробно в «механику» которой меня не посвящали и которая сказывалась моей свободой от ежемесячной тяготы женского племени. Когда к шестнадцати годам

у меня, не отстающей от ровесниц внешне, так и не наступило половое созревание, мать отвела меня к гинекологу. Гинеколог зачем-то направила меня на рентген, а после была ее часовая беседа с матерью в кабинете. Я занимала этот час единственным достойным мыслящего подростка журналом из разложенных на столике в приемной – об экзотике дальних стран, вроде «GEO». Помню даже, что там было много Индии, фотографии уличной жизни Варанаси на разворот, с непременно ступенчатым спуском к Гангу, цветной ветошью и столбами дыма.

В тот же день дома родители сообщили мне только, что менструаций у меня не будет никогда. На положение вещей, преимущества которого били в глаза, я отозвалась миролюбиво-попустительским пожатием плечами. Прошло несколько лет, и отец попросил у меня времени для важного разговора. Так я узнала имя своей «особенности» – синдром Морриса. У меня нет матки и яичников, потому нет и менструаций, потому и не будет детей. На хромосомном уровне я – мужчина. Чем раньше, тем лучше удалить недоразвитые тестикулы, спрятанные у меня внутри и грозящие однажды переродиться в злокачественную опухоль; неотложность операции и подвела к разговору.

Отнятое материнство меня, двадцатилетнюю и еще не влюблявшуюся, не удручало. Предстоящая операция, первая операция в моей жизни, тревожила. Но была ли я раздавлена или, наоборот, захвачена правдой о своей сущности? Своим невидимым, считай умозритель-

Жизнь рудокопа

ным, как бы отделенным от меня, слишком глубоко загнанным в недра, выбрасывающим меня из меня самой, мужским полом?

Я смотрела на себя точно с широкого конца подзорной трубы. Я старалась проникнуться не трагизмом, так хоть античной трагичностью, фатальностью меня саму предварившего сбоя во мне, своей ложностью, кажимостью. Но все это будто, не впитываясь сквозь кожу, скатывалось с меня, оставляя сухой, бесплодно-сухой, не приносящей плода очистительного отчаянья. Одно под видом другого, я была аппликацией, наклеенной на чуждый фон, но чуждость этого фона оставалась для меня вчуже: зная, что другая, я не могла прочувствовать, насколько другая. Мой «химический» пол не отвечал мне, как мозоль на прикосновение, и я не отвечала ему. Поощряемыми мужскими качествами я похвастаться не могла, равно и щегольнуть предосудительными. Не оправдав посулы Интернета, синдром поспешил на «отступные» своих фейных даров. Стать, выносливость, мужество и воля Жанны д'Арк (во второй редакции синдром носит ее имя), обусловленные высоким уровнем тестостерона острый ум и великолепие шевелюры затерялись на почте. Я была не сверхчеловеком, а только минус-женщиной. Я была меньше самой себя.

С удалением зародышей тестикул я лишилась и истинного, исконного пола, я опустела.

На какой-то день после выписки из больницы, лежа в кровати и уже засыпая, я ощутила судорогу, прошившую меня вдоль. Я вспомнила, что лет с десяти до три-